

Дед Лекандра был нашим соседом слева. Судя по фамилии, он был нашим дальним родственником. Хотя в деревне дворы по бедности разделялись обычно частоколом, доски были роскошью, наши дворы разделял высокий плотный дощатый забор, который соорудил дед Лекандра, потому что враждовал с моим отцом, почему-то называя его Волком, причин я не знаю, а теперь кого спросишь?

Дед Лекандра был мощный и мрачный, сгорбленный временем и жизнью старик с густыми черными бровями, смоляной лохматой бородой и пронзительным взглядом, и его побаивались не только мы, ребятишки. Можно было сказать, что у него в лице было что-то от цыгана, если бы не знать, что его бабка по матери была башкиркой, такое бывало, когда первые переселенцы на уральские заводы, приписные крестьяне, из-за нехватки русских невест женились на башкирках.

Никаких отношений мы с дедом Лекандрой не поддерживали, хотя за его рано умершим сыном Николаем была замужем сестра моего отца, тетя Анна. Впрочем, ни с кем на нашей улице,

которая называлась, разумеется, Социалистической, он не поддерживал никаких отношений.

Его огороженный плотным забором двор был для нас, ребятишек, полной тайной, ни один из нас не решался залезть в его огород за сараем, хотя по ночам мы запросто шастали по другим огородам в поисках огурцов, хотя своих было навалом, и, даже проходя по улице мимо, если он сидел на лавочке, торопливо, словно виноватые, опускали глаза. Я даже боялся с ним поздороваться. Да не только мы, мужики, поздоровавшись и не получив, как правило, ответа, торопливо проходили мимо, потому что в спину или прямо в глаза могли услышать от деда Лекандры, что тот о них думает. И даже внучата, что жили напротив, ходили к нему неохотно, он не очень привечал их.

Дед Лекандра был единственным на нашей улице, а может, во всей деревне, единоличником. Его пытались сломить угрозами, непомерными налогами, не давали сенокоса и делянки на дрова, но он до последнего часа своего так и не сломался, косил воровски по ночам, так же, воровски, по ночам заготавливал дрова, лесники и

полевые объездчики то ли действительно не могли его поймать, то ли сочувствовали ему. И держал лошадь, и не просто лошадь, а добротного коня, которая была единственной на нашей улице, и огород в тридцать соток, когда разрешалось пятнадцать. Была тут какая-то тайна, почему его не загребли, в отличие от других, которые за меньшую провинность перед народной властью пошли по жизни, так в народе называли тюрьму или лагерь. Правда, его забирали в 37-ом, вспомнили, что добровольно служил у Колчака, но через два года вернулся, здоровехонький и еще более злой. И все равно решительно отказался идти в колхоз: «Ни в жисть с голопузыми бездельниками! Нормального мужика вы по тюрьмам да по ссылкам сгноили». Вон дядю Еремея, перевозчика в половодье через буйную Юрюзань, в другое время ее можно было переехать по перекату на телеге, на 8 лет в Черемхово, в шахты, отправили, определив одновременно в английские и японские шпионы, только за то, что во время всенародных выборов товарища Сталина в непогоду – дождь со снегом – не вовремя подал паром торопящимся на всенародные выборы ответственным районным начальникам и при этом неосторожно матюкнулся: «Нормальные люди в такую непогоду дома сидят и других бумажки в ящик бросать не гонят». Да еще говорили, что легко отделался, а то мог бы запросто получить 10 лет «без права переписки», что на самом деле означало расстрел. А дед Лекандра принародно крыл матом то и дело наведовавшихся к нему разного сорта уполномочен-

ных. А однажды в сердцах, видя, как угробили колхозники урожай, потому как вовремя не было на уборку распоряжения райкома, а потом, когда распоряжение пришло, пошел мокрый снег и положил пшеницу, что комбайном ее уже было не взять, бросил в глаза очередному уполномоченному: «Эх, башкиры, в Гражданскую открыли фронт, сняли свои части, ушли к красным, свободу те им посулили, теперь, кто жив, наверное, локти гложут, а большинство ихних заводил потом Сталин, божья кара, порешил, кто не успел за границу бежать, чтобы потом немцам служить, а то мы с Александром Васильевичем в корне изничтожили бы эту сатанинскую власть». Действительно, какая-то тайна за этим стояла, другим за такие слова не сносить бы головы.

Каждое воскресенье рано утром дед Лекандра седлал коня, жена его, маленькая сухонькая безропотная старушечка, стояла у седла, подавала ему чистую рубашку, он, надевая ее, по-молодецки выпрямлялся, куда горб девался, взгромождался в седло и неторопливой рысью выезжал со двора. Беда была тому, кто по недоумию или неведению спрашивал, куда он едет, редкие решались на это по хитрости, потому что знали, что он обложит спрашивающего матом, ответив в конце: «Каково твое сучье дело?!» Дело в том, что все знали, куда он едет, – навещать свою бывшую землю, в свое время купленную его отцом, а может, дедом у башкир, которая, давно колхозная, до сих пор в народе так и называлась – Лекандрин дол. Красивый был дол, с родничком в голове, обрамлен по

бокам березняком с калиновыми и рябиновыми кустами. Возвращался дед Лекандра оттуда обычно к полудню галопом – на взмыленной лошади, с пеной у рта, и тут уж совсем не стоило попадать ему на пути, – он мог и кнутом огреть. Жена его уже давно ждала этой минуты и заблаговременно открывала настежь ворота, потому что, замешкайся только – тоже могла получить кнутом. И по двору долго еще был слышен его мат: «Голопузые, бездельники, опять угробили урожай, сначала опоздали с посевом, теперь время уборки упустили, по снегу убирать будут!»), что мы, соседи, даже боялись ходить открыто по своему двору – он мог накинуться, обматерить ни за что и через забор. Старушечка его становилась еще меньше, и даже куры торопливо прятались под амбар, и красавец-петух не показывал носа – все замирало на дворе деда Лекандры. Только к вечеру он появлялся на крыльце, вокруг него ворковала жена. Но он молчал, пинал подвернувшиеся под ноги ведра, и только потом, когда спрашивал «Свинью накормила?» или «Обед готов?», – старушечка решалась заговорить, начинала суетиться по хозяйству, из-под амбара решались выбраться на ее зов куры, но на середину двора еще не выходили, жались по углам.

Но работник дед Лекандра, несмотря на возраст, был отменный. Я никогда не видел, чтобы он что-нибудь не делал: не чинил ли конскую сбрую, не поправлял ли изгородь в огороде, не плел ли из ивы короб или гнезда для гусей, не пилил ли дрова двуручной пилой. Только вечером он мог позволить

себе посидеть за самоваром у распахнутого на улицу в черемухи окна или на скамеечке под теми же черемухами.

А черемухи у него в палисаднике перед окнами с резными наличниками, которые были редкостью в нашей деревне, были самыми пышными на улице. И когда они уже у всех стояли обломанными шпаной или ухажерами, у него блаженно доспевали, что он собирал с них несколько ведер ягод, которые потом старушечка сушила, чтобы зимой печь пироги. Только Ленька Изместьев, рисуясь перед девками, однажды решился взобраться на изгородь, чтобы наломать гнущихся под тяжестью ягод веток, но тут же кулем свалился обратно, вытащив из кустов на руке змеей обвивший ее длинный кнут. Он уже второй год шоферил и несколько дней после того не мог завести машину, просил кого-нибудь из соседских парней или мужиков покрутить рукоятку.

Да, дед Лекандра был работник отменный, можно сказать, круглосуточный. Но была у него слабость. Раз в году он позволял себе праздник. Это было в пору, когда покос уже закончился, а уборка еще не начиналась, хотя убирать в поле ему было нечего. В этот день, наверное, единственный день в году, когда на его лице можно было увидеть улыбку. Он надевал старые штаны, длинную холщовую рубаху, подпоясанную мочальной веревкой, в этот день улыбалась и старушечка, она суетилась вокруг него, собирая ему немудреную котомку в дорогу.

Затем он выбирал из приставленных к повети жердин палку

длиной и толщиной с оглоблю, насаживал на нее острогу, заржавевшую за год, обувался в лапти, хотя обычно ходил в сапогах, натягивал на голову войлочную шляпу, только она была из каждодневной одежды, забрасывал за спину мешок, на плечо – острогу и выходил на улицу. В эту минуту он мог заговорить даже с моим отцом. В этот день с ним мог поздороваться любой, и он обязательно ответит... По крайней мере, промолчит на приветствие людей, которых особо презирал.

– Здравствуй, Лекандра Николаевич! – почему-то заискивая, приветствовал его даже самый бесстрашный фронтовик.

– Здорово! – неожиданно улыбнется дед Лекандра.

– Куда это? – как бы не догадываясь, куда, спросит мужик.

– Да вот, аль не видишь, – перебрасывал он с плеча на плечо острогу, – дома все, слава Богу, потешиться немного, рыбки старухе захотелось.

По проулку он спускался к реке Юрюзани, что в переводе с башкирского – быстрая, таковой она и была, особенно на перекатах, к низу нашего огорода, чем ближе к реке, тем шел быстрее, чуть не бежал. Не останавливаясь, забредал в воду, крестился и, встав лицом вверх по течению, чтобы сплывала вниз муть, поднятая ногами, осторожно под водой отворачивал своей гигантской острогой первый камень, – под камнями жили налимы. И так, начиная от бани вдовой снохи Анны, он уходил все дальше и дальше вверх по течению. Несколько часов его еще можно было видеть с нашего огорода, да и с улицы, что было причиной оживленных разговоров.

– Никак дед Лекандра в рекет-то? – спрашивал кто-нибудь, заведомо зная, что в реке именно он.

– Он. Кто еще с такой жердиной!

– Дак это даже не жердина, целое бревно.

– Знать, еще есть сила.

– А кто его знает. Может, через силу, в последний раз. Зимой-то, бают, совсем помирал. Детей телеграммами вызывали.

– Детей-то вызвали. На лавку под иконами положили, руки на груди скрестили. Сели около него вокруг стола, а он слушал, слушал, как они делят нажитое, сметану, масло без меры едят, вдруг встал да и разогнал всех матом: «Собрались на дармовщину, добро делить!» Потом взгромоздился на коня и в свой Лекандрин дол. Так и ожил.

А дед Лекандра тем временем все выше и выше поднимался по реке, пока не скрывался за первым островом.

И как только он скрывался за островом, ворота больше уже не закрывались у Лекандринной старухи. Первыми прибежали полугодовалые внуки, что жили напротив, дети тети Анны, которых он не очень-то после смерти сына привечал. Старуха торопливо ухала в печь чугунок с кашей, выставляла на стол старое сало, сметану. Внуки терпеливо сидели вокруг стола на крашеных скамейках. Тайком от них – не дай бог, проболтаются! – она отсыпала снохе отрубей, пшена, еще чего-нибудь, даже если заметит Лекандра потом, вернувшись с рыбалки, а без рыбы он никогда не возвращался, – промолчит, сделает вид, что не заметил.

Потом, осторожно поглядывая вверх по реке, приходили ее подруги-старухи, вели за чаем долгие

разговоры. Все шесть окон на улице в этот день были распахнуты, и, если кто шел мимо, если даже не видел ушедшего за остров деда Лекандру, знал по распахнутым настежь окнам, в чем дело.

Уходя, дед Лекандра объявлял, что уходит на три дня, но не было такого случая, чтобы возвращался раньше времени. Обычно он возвращался на четвертый день к вечеру. Но все равно на третий день в доме воцарялась тишина ожидания – колодец у них был во дворе, и за весь день тяжелая, окованная железом калитка, врезанная в ворота, ни разу не открывалась.

Но и на четвертый день дед Лекандра возвращался не всегда. Спал он на берегу у костра прямо в мокрых штанах и рубахе, так как никакого сменного белья с собой не брал. Он вообще с собой ничего не брал, кроме сухарей и соли. Обычно дед Лекандра возвращался на пятый или шестой день, за это время он уходил по реке километров на тридцать-сорок – за плечами был набитый битком мешок с налимами, поверх была привязана острога, уже без богатырского бревна, и сам он, вымоченный в воде, становился как бы светлее, как бы вода съедала немного черноту с его тела и даже лица.

А однажды он вернулся только на одиннадцатый день. Бедная старушечка уже не знала, что делать – то ли еще ждать, то ли снова отбивать телеграммы сыновьям, живущим в старинных уральских городках, Симу и Юрюзани, работающим там на секретных военных заводах, на строительство которых их предков в свое время продал какой-то помещик с Повол-

жья, фамилию которого уже не помнили, потому как до того их, в карты проигрывая, еще несколько раз перепродавали. Уже стали собирать поисковую экспедицию, гадая, что могло с ним случиться, как он наконец появился в конце улицы. Оказывается, река от горных дождей прибыла, помутнела, и он выжидал, пока она снова посветлеет, потому как не мог он возвращаться домой без рыбы.

Только однажды он вернулся на второй день – в разгар большого и жаркого старушечьего чаепития. Он неожиданно, черный, со смоляной бородой, вырос на пороге – и старушечки все обомлели, не говоря уже о его старушонке, которая чуть не упала в обморок.

Несколько мгновений стояла зловещая тишина – чашки застыли у ртов, сладкие шанежки остановились в пищеводах.

– Эк, как на дармовщину-то сбежались, старые крысы, – дальше шло уже непередаваемое, старушечки, как серые мыши, одна за другой стали прошмыгивать мимо него, а он крыл и крыл их по очереди гнусным матом, а последней даже дал кнутовищем под зад.

Его старушечка прижалась в углу, как нечаянно залетевшая в дом и обомлевшая от страха синица.

– Чуть из дома, как добро по ветру? – дед Лекандра стал подбираться к ней из-за стола, на ходу расправляя кнут, но то юркнула вокруг стола, настигая ее, он споткнулся, перелетел через скамейку и растянулся по полу, но перед темно все-таки успел задеть ее кнутом, и две ночи она ночевала по чужим баням.

Оказалось, пока он спал у костра, кто-то стащил у него острогу.

Обычно после возвращения деда Лекандры с рыбалки несколько дней вокруг его дома витал рыбий дух – рыба жарилась, варилась в ухе, пеклись пироги...

А потом жизнь входила в обычное русло. Умирали старые люди и не совсем старые, и спившиеся молодые, что теперь почему-то не было редкостью в нашей деревне, хотя жизнь заметно наладилась, рождались дети, и, казалось, что только деда Лекандру не брало время, даже не седела борода.

Но вот пришло время, когда дед Лекандра серьезно занемог, вторую неделю не вставал, не ел, только просил квасу. Помня прошлый раз, телеграммы боялись посылать, ждали.

– Дед Лекандра совсем плох, – прошелестело по деревне.

Докатилась весть и до сыновей, потому что и у некоторых других мужиков сыновья работали на тех самых заводах, крепили оборону страны, другие охраняли границу, а страна тихо изъедалась плесенью изнутри. Сыновья, не дожидаясь телеграмм, один за другим приехали.

Снова сидели за столом, время от времени проверяя, дышит ли.

Услышав множество голосов полушепотом, слово хотят от него скрыть какую-то тайну, он вдруг напрягся всем телом, открыл глаза, долго смотрел в потолок, словно не понимая где он и что с ним, потом сел, обвел застолье мутным взглядом, наконец понял, что к чему, и зашелся густым матом:

«Опять собралось меня хоронить, добро делить?!»

Разогнав ближних и дальних родственников, как лежал в исподнем, так как еще не одевали, шатаясь вышел во двор, вывел из-под навеса коня, седлать уже не было сил, подвел к высокому крыльцу, по-мальчишески с трудом забрался я на него и заорал не поймешь на кого, на жену ли, на сыновей:

– Что разинули рты, открывайте ворота.

Ждали его долго, не знали, что делать, искать ли подводу и ехать в Лекандрин дол или ждать.

Но наконец он сам появился в конце улицы, завалившись на бок и назад, голова моталась, кулем свалился с лошади, хорошо, что подхватили сыновья, завели в дом и положили на лавку под образа, а на кровать, на которой он зачинал их, и он забылся тяжелым сном с храпом, хотя обычно не храпел.

А вслед за ним пришел слух, что в его долу, который теперь был колхозным, а на самом деле ничьим, он отстегал кнутом подвернувшегося мальчишку-тракториста за плохую пахоту, заодно и бригадира, который пытался остановить, а секретаря парткома, который оказался некстати тут, назвал краснопузым упырем...

Ну, теперь точно быть бы суду, на этот раз точно бы не обошлось, секретарь парткома был из приезжих, и даже председатель колхоза побаивался его, но на второй день, когда сыновья снова разъехались, дед Лекандра тихо, не приходя в сознание, помер.